

Премьера рубрики: УРОКИ ЧТЕНИЯ

Великие литературные произведения живут, как известно, долго. Но жить — значит постоянно меняться, значит сегодня быть иным, чем вчера, а завтра иным, нежели сегодня. Именно это происходит с классикой, вот только всегда ли мы умеем изменения эти увидеть? Умеем ли мы читать книги?

УРОКИ ЧТЕНИЯ — так мы назвали рубрику, которую будет вести писатель Руслан Киреев. Вас ждут встречи с хорошо знакомыми, но всегда новыми писателями — Толстым и Гоголем, Пушкиным и Достоевским, Сервантесом и Шекспиром, Стендалем и Гете — и их героями.

Чехов и — загадка? Да бросьте, скажут, более простого, более ясного, более прозрачного писателя в русской классике, кажется, и нет. Это вам не бездны Достоевского... Это вам не миры Толстого... Ну какая, в самом деле, тайна в том же, например, «Толстом и тонком», которого мы знаем со школьной скамьи чуть ли не наизусть?

Знать-то знаем, видим обоих героев как на ладони, но герои, между прочим, не два, героев три.

Третий герой в этом маленьком рассказе — Время. Впрочем, потоком времени пронизаны едва ли не все чеховские произведения. «Прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось» («Архиерей»). «И всего этого точно не было. Все, как сон или сказка» («Новая дача»). «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре» («Студент»). Вот только в «Степи» время «точно... застыло и остановилось». Но смотрите, что следует дальше, сразу за этим: «Казалось, что с утра прошло уже сто лет».

Сто лет! Ничего себе — «остановилось». Неудержимо вперед катит, неся одних в пенящемся потоке и забыв в омуте других, — ситуация, согласитесь, прямо-таки из сегодняшнего дня. Это-то трагическое несовпадение скоростей — от полной неподвижности до ошалелой гонки — передано в «Толстом и тонком» с поразительной наглядностью. «Мы с тобой друзья детства», — едва успевает вымолвить толстый, как его, закурив, уносит прочь, к новым удачам и новым праздникам, в то время как бывшему его соученику суждено до конца дней своих прозябать в стоячей водиче.

Как же удержаться в реке времени? Как не захлебнуться или не оказаться выброшенным на мель? Прежний-то корабль, на котором мы худо-бедно плыли три четверти века, распался — без опоры под ногами оказался

человек, а не через унижение духа, которое в полной мере испытал Яков Петрович. Тут бросается прямой вызов автору «Преступления и наказания» — не зря имя его фигурирует в письме к С. Дягилеву, где Чехов, вообще-то к отвлеченным рассуждениям не склонный, высказывается с исчерпывающей прямоотой: «Теперьшняя культура — это начало работы во имя великого будущего, рабо-

себе. «Был у нас в тюрьме бес-срочно каторжный Кириан Блоха, — вспоминал после один из очевидцев. — Угрюмый, необщительный, жестокий и хитрый, но даже он в разговоре с Чеховым изменялся до неузнаваемости, и тогда в его интонации слышались такие нотки, каких мы и не предполагали в этом человеке-звере».

Если Толстой и Достоевский всю жизнь мучились «вечными

дежно держаться в потоке времени? И если да, то как несокрушимая сила эта зовется?

Она зовется просто: достоинство. Обыкновенное человеческое достоинство — оно в Чехове пробудилось чрезвычайно рано. Вот что пишет он в девятнадцать лет брату Михаилу: «Не нравятся мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой... Среди людей нужно сознавать свое достоинство».

Чехов сознавал. Мягкий, деликатный, добрый, милый, безотказный Чехов становился беспощадно жестким, когда задевали его честь. «Обвинение Ваше — клевета!» — бросает Антон Павлович издатель «Русской мысли» В. Лаврову, в журнале которого он был назван «жрецом беспринципного писания».

Мнение это — о беспринципности, о безыдеальности Чехова бытует и поныне. Отстаивая его, ссылаются на слова Николая Степановича из «Скудной истории»: «Во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богочеловеческого человека». Даже пронзительный Томас Манн, говоря о Чехове, утверждал, что «в уста своего старшего, умирающего ученого он вложил многое от себя... Где «общая идея» его жизни и творчества?»

Жизни? Но ведь у Николая Степановича не о жизни речь, у него речь о суждениях, то есть об умственной деятельности, которая является важнейшей, но отнюдь не единственной стороной человеческого существования. Сводить же его к идее, пусть даже крупной, пусть даже великой, — это значит искусственно заужать жизнь, упаковать ее в футляр.

Не это ли и произошло с нами? Не пророческим ли оказался хрестоматийный чеховский рассказ «Человек в футляре», а мы читали его, мы сдавали по нему экзамены и не подозревали, что это — о нас...

Сейчас мы из футляров малопомалу выбираемся. Нам страшно. Нам зябко. Слепо шарим вокруг, ища опору, а она-то, опора эта, в нас самих.

«Среди людей надо сознавать свое достоинство».

Руслан КИРЕЕВ.

Загадка ЧЕХОВА



ты, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском».

И вот здесь-то начинается главная загадка Чехова. Как он, будучи человеком неверующим, то есть не имея под ногами религиозной опоры (или, если угодно, религиозного неба над головой), так твердо и достойно держался? Даже перед лицом смерти не дрогнул: с улыбкой выпил, вспоминает Книппер-Чехова, бокал шампанского, повернулся «на левый бок и вскоре умолкнул навсегда». Что за магическая сила была в этом хвором человеке — сила, воздействие которой испытывали на себе как его великие современники (Лев Толстой равно восхищался и творчеством Чехова, и им самим), так и простые люди, не прочитавшие за всю жизнь ни единой чеховской строки? Например, каторжане, с которыми он столкнулся на Сахалине. Оказывается, он и их сумел расположить к

вопросами, то Чехов просто-напросто не задавал их. Но при этом строил дороги и школы, лечил больных, ходатайствовал о бедствующих литераторах, артистах и музыкантах, с изумительной аккуратностью отвечал на письма да еще, как только заканчивался год, тщательно рассортировывал их. Сажал деревья. Читал рукописи, которые ему присылали, — а их присылали множество, и хоть бы кому отказал, сославшись на занятость!

Если верить брату Михаилу (а не верить ему нет оснований), Чехов в детстве «был белоручка. Он устраивал лекции и сценки, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я, — вспоминает Михаил, — никогда не видел его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-нибудь физическим трудом».

Стало быть, не любил скучного физического труда? Но ведь это он, гимназист Чехов, овладел портняжным мастерством и преспокойно шил себе штаны. Это «домовладелец» Чехов, как он именова себя с шутливой торжественностью, целыми днями возился в саду. Это доктор Чехов собрал обширнейший материал для диссертации «Врачебное дело в России». Это добровольный исследователь сахалинской каторги Чехов собственноручно заполнил десять тысяч статистических карточек. Это помощник предводителя дворянства Чехов объездил все школы Серпуховского района и о каждой из них написал отчет. Школ же было без малого шесть десятков...

Что же, спрашивается, превратило белоручку в великого труженика? Не та ли таинственная сила, которая помогала ему, неверующему, спокойно и на-